



# Эстер Гессен Белосток – Москва

*Текст предоставлен правообладателем*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=6890519](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6890519)*

*Гессен, Эстер Белосток — Москва : мемуары : АСТ : CORPUS; Москва; 2014*

*ISBN 978-5-17-083765-6*

## **Аннотация**

“За семнадцать лет жизни в Польше и потом более полувека в России немало довелось увидеть и испытать в нашем бурном столетии. К тому же с каждым годом все меньше остается людей, помнящих те времена” — так начинается свою книгу Эстер Гессен. Родившись в польском Белостоке в 1923 году и накануне войны оказавшись в советской Москве, Эстер испытала все — репрессии и ссылки родных, государственный и бытовой антисемитизм, голод, войну. Она помнит оттепель и застой, обещания и разочарования перестройки, помнит жизнь страны. Но на первом месте для нее стоит жизнь человека с ее горем и радостью, всегда идущими рядом. Книга Эстер Гессен — важный и ценный документ эпохи, которая еще не закончилась.

# Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

21

# Эстер Гессен

## Белосток — Москва

*Моему отцу Якубу Гольдбергу посвящаю*

*Но в памяти такая скрыта мощь,  
Что возвращает образы и множит.  
Шумит, не умолкая, память-дождь,  
И память-снег  
Летит и пасть не может...*

*Давид Самойлов*

© Эстер Гессен, 1996, 2014

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2014

© ООО «Издательство АСТ», 2014

Издательство CORPUS ®

Мне уже за семьдесят, сижу без работы. Редакция, где я трудилась сорок с лишним лет, умерла естественной смертью, а поскольку я привыкла за все эти годы проводить достаточно много времени за пишущей машинкой (мои дети смеются надо мной и говорят, что давно пора заменить этот реликтовый агрегат компьютером), то мне подумалось, что, может быть, стоит записать, хотя бы для детей и внуков, кое-что из моих воспоминаний. Что ни говори, а за семнадцать лет жизни в Польше и потом более полувека в России немало довелось увидеть и испытать в нашем бурном столетии. К тому же с каждым годом все меньше остается людей, помнящих те времена.

Итак, родилась я в 1923 году в польском городе Белостоке в интеллигентной еврейской семье. Мама окончила филологический факультет Варшавского университета, что было для девушки ее круга (отец ее был хасидом) не просто редкостью, а настоящим подвигом. Она годами добивалась согласия отца на получение образования — мой дедушка считал, что для женщины умения читать и писать более чем достаточно. Но в конце концов ей удалось настоять на своем и не только самой окончить гимназию и поступить в университет, но и проложить путь туда трем своим младшим сестрам. Потом, после замужества, мама переехала в Белосток и вплоть до самой войны преподавала польский язык и литературу в частной еврейской гимназии, где обучение велось на идише. Тут я хочу отметить, что в стотысячном городе, каким был Белосток, евреи составляли около половины населения — здесь были еврейская больница, еврейский детский приют и дом престарелых, целая сеть частных школ-семилеток с преподаванием на идише или на иврите, частные гимназии, в нескольких из которых преподавание велось на польском языке, в одной на идише и в одной на иврите; именно в последней училась я, но об этом ниже.

В Польше с каждым годом ширился и усиливался антисемитизм, но мы в Белостоке знали об этом только из газет и по рассказам приезжих. У нас евреи составляли как бы государство в государстве — у еврейской общины был свой выборный совет, свой бюджет. Когда в городском парке антисемитские хулиганы попробовали напасть на евреев, еврейские молодые люди организовали отряды самообороны, подкарауливали в кустах и несколько раз так избивали нападающих, что у тех пропала охота к подобным подвигам.

Евреи вообще составляли совершенно обособленную группу населения, во всяком случае в нашем городе. Скорее всего, так было и в маленьких местечках. У меня, например, первые знакомые и друзья — неевреи появились только в России, когда, после так называемого

освобождения в 1939 году Западной Белоруссии и Украины, я, окончив школу, приехала в Москву учиться. И должна сказать, что позднее, во время оголтелой антисемитской кампании, разгоревшейся в СССР в последние годы жизни Сталина (и длившейся, хотя и с меньшей интенсивностью, десятилетиями после его смерти) я почти с умилением вспоминала антисемитизм в Польше. Там можно было об этом позорном явлении говорить, писать, протестовать. Здесь за такие разговоры попадали в лагерь, потому что ксенофобия была характерна будто бы только для мира капитализма, а в СССР все народы (ха-ха!) равны.

Я вспоминала, как в 1937 году, после еврейского погрома в городке Пшитык, по всей Польше прокатилась волна устроенных евреями забастовок протеста; наша гимназия, в частности, тоже бастовала, за что ее лишили государственной лицензии и мой класс в 1938 году сдавал на так называемый малый аттестат зрелости (после десяти лет обучения, потом было еще два года лица) не своим преподавателям, а комиссии из Брестского учебного округа, в ведении которого находились все школы и гимназии Белостока. А поскольку мы все предметы, в том числе физику, химию, математику и т. д., изучали на иврите, то в состав комиссии в качестве переводчика входил ксендз. Мы были, разумеется, ужасно напуганы и взволнованы. Шутка сказать: сдавать экзамены на аттестат зрелости не своим, хорошо знакомым преподавателям, а каким-то чужакам, скорее всего антисемитам. Но наши учителя успокаивали нас, говоря: “Не бойтесь, этот ксендз наверняка знает иврит несравненно хуже вас, поэтому старайтесь, отвечая, говорить как можно быстрее. Он половины не поймет, а поскольку не захочет в этом признаться, то или будет сам, переводя, исправлять ваши ошибки, или, скорее всего, не утруждая себя переводом, скажет, что ваши ответы правильны”. Действительно, тем из нас, кто сумел взять себя в руки, этот совет очень пригодился. Я, например, тараторила на экзаменах не переводя дыхания и получила неплохие оценки.

А вообще экзамены на аттестат зрелости в нашей гимназии были трудны чрезвычайно. У многих не выдерживали нервы, бывали случаи, когда гимназисты попадали даже в психиатрические лечебницы. Дело в том, что выпускные экзамены сдавали тогда не так, как сегодня, — в один день, скажем, математику, через несколько дней литературу, потом историю и т. д. В ту пору группа из четырех или пяти учеников сдавала все предметы в один день. Назавтра к экзаменам приступала следующая группа. В гимназиях с государственной лицензией выпускники таким образом сдавали всего несколько основных предметов, что, впрочем, тоже было нелегко, по остальным же предметам преподаватели выставляли отметки на основании показателей за весь учебный год. Мы же в своей лишенной лицензии гимназии сдавали в один день все предметы программы. Не помню точно, сколько их было, но, во всяком случае, не меньше десяти. Это была настоящая пытка, меня до сих пор бросает в дрожь при воспоминании о тех проклятых экзаменах.

Что касается забастовок протеста, то, когда я позднее рассказывала о них своим советским друзьям, те отказывались верить. Они и представить себе не могли, что такое было возможно. Ну а когда я окончила университет и больше года из-за своего “пятого пункта” не могла никуда устроиться на работу, опять напрашивались параллели. Я вспоминала, что в довоенной Польше, где евреев не брали на работу в государственные учреждения, существовало множество частных предприятий, магазинов, учебных заведений, владельцами которых были евреи, предоставлявшие работу главным образом своим соплеменникам. И опять напрашивался вывод, что в той антисемитской Польше евреям жилось легче. Не говоря уже о том, что каждый, кому не нравилась жизнь там, мог в любой момент уехать. В отличие от “первой страны победившего социализма”, где у евреев не было возможности ни работать, ни бороться против дискриминации, ни уезжать.

После этого отступления я возвращаюсь к своему белостокскому детству. Мои родители вначале были очень зажиточными людьми. Отец руководил довольно крупным банком,

унаследованным от богатой бабушки. Сама я, увы, того легендарного времени, с кухаркой, горничной и няней, почти не помню. Запомнилось только, что в один прекрасный день они все исчезли, вместо них появилась скромная деревенская девушка “для всего”, а родители ужасно нервничали. Только спустя годы я узнала, что к отцу тогда обратился его близкий знакомый, предприниматель по фамилии Нейман (кстати сказать, отец известной до войны польской киноактрисы Норы Ней; я помню даже фильм “Зов моря”, в котором она играла главную роль), умоляя одолжить ему на три дня крупную сумму. Эти деньги должны были спасти его от банкротства (на дворе стоял 1929 год, начало Великой депрессии). Отец отдал ему всю наличность, имевшуюся в банке, а ровно через три дня Нейман, которого, судя по всему, этот заем не спас, покончил с собой. Отцу хватило денег только на то, чтобы, закрыв банк, избежать долговой тюрьмы. Потом он несколько лет оставался без работы, и наша семья жила главным образом в долг, потому что мамина зарплата была более чем скромной. Мы по-прежнему снимали большую квартиру в дорогом районе, так как, по утверждениям отца, если бы мы ее сменили на жилье подешевле, владельцы магазинов тут же перестали бы нам отпускать товары иначе, чем за наличные. Поэтому, чтобы не потерять их доверие, приходилось жить не по средствам.

Потом отец нашел работу — стал уполномоченным итальянской страховой компании по Белостокскому воеводству. Компания называлась, если мне память не изменяет, *Assicurazione Generali di Trieste*. А что я уже помню отлично, так это факт, что отцу приходило жалованье раз в месяц на Главный почтамт и, когда он шел за деньгами, его неизменно сопровождали многочисленные кредиторы, которым он прямо у кассы возвращал часть старых долгов. Помню также, как мама беспрестанно пыталась его убедить, что мы должны начать жить поскромнее, сменить квартиру, уволить домработницу и наконец полностью расплатиться с кредиторами. На это отец отвечал, что не намерен во всем себе отказывать ради того, чтобы когда-нибудь на его похоронах люди вспоминали: “Ах, как самоотверженно покойник возвращал долги!” Ну и оказалось, что он был прав: прежде чем ему удалось со всеми расплатиться, началась война, он попал в гетто и погиб в гитлеровском лагере смерти Майданек. Но об этом я расскажу позднее. А Нора Ней, дочь Неймана, разорившего моего отца, долгие годы испытывала, должно быть, чувство вины. Мы с ней не были знакомы, но в 1940 году, когда я училась в Москве, жила в общежитии на одну стипендию и была перманентно голодна, она меня разыскала, сказала, что приехала на гастроли, знает моих родителей и приглашает меня в ресторан. Я охотно пошла и провела с ней приятный вечер. Больше мы не виделись, а поскольку после войны о ней ничего не было слышно, то я думаю, что она погибла в гетто или в лагере<sup>1</sup>.

Итак, я училась в еврейской гимназии, где все преподавание шло на иврите. Туда записал меня отец, несмотря на возражения мамы, предпочитавшей для меня ее гимназию с преподаванием на идише. После долгих споров папа все же настоял на своем — он был пламенным сионистом, активным деятелем сионистской партии, собирался непременно эмигрировать в Палестину и хотел, чтобы я была готова к учебе в Иерусалимском университете. Впрочем, когда я была в первом классе, произошел случай, в результате которого победу чуть не одержала мама. Дело в том, что евреи в Польше, особенно в провинциальных городах, были в подавляющем большинстве набожны, соблюдали все религиозные правила и запреты. Настолько, что с этим считались даже польские власти. Например, в государственных школах и гимназиях, где учеба в отличие от частных школ была бесплатной и где учились в том числе дети из бедных еврейских семей, учителя в субботу никогда не устраивали контрольных и не вызывали учеников-евреев к доске, потому что по субботам нельзя писать.

---

<sup>1</sup> На самом деле Нора Ней в 1946 году эмигрировала в США и умерла в Энсинитесе, Калифорния, в 2003 году в возрасте 93 лет. (Здесь и далее — прим. ред.)

(Кстати, когда в 1941 году мама оказалась в одной тюремной камере с учительницей математики из польской гимназии, та жаловалась, что, поскольку по субботам евреев нельзя было вызывать к доске, это был всегда самый скучный день в школе.) А на уроках Закона Божьего евреи занимались отдельно от поляков, с раввином. Мои же родители, хотя оба происходили из хасидских семей (а может быть, именно поэтому), были убежденными атеистами и не соблюдали никаких религиозных правил, в частности, у нас дома не было кошерной пищи. Ну и я, разумеется, понятия не имела, что евреям можно есть, а чего нельзя. И вот однажды в гимназии, позавтракав в буфете во время большой перемены и вернувшись в класс, я обнаружила, что мальчик, с которым я сидела за одной партой, подсел третьим за другую парту. Прежде чем я успела спросить, в чем дело, вошла учительница и велела ему вернуться на свое место. Но он сказал, что сидеть со мной не будет. Удивленная учительница, решив, что мы, возможно, поссорились, попыталась посадить со мной за парту кого-нибудь другого. Но желающих не нашлось, все отказывались. Выяснилось, что я тяжело согрешила — съела на завтрак в буфете пару бутербродов с колбасой и запила стаканом какао, в то время как, по кошерным правилам, ни в коем случае нельзя сочетать мясную пищу с молочной. Уговоры учительницы ни к чему не привели, мне был объявлен бойкот. Тут я схватила портфель, выскочила из класса и побежала домой, где, рыдая и кляня родителей за их доставившее мне столько неприятностей вольнодумство, заявила, что ноги моей больше в этой гимназии не будет. С неделю я не посещала уроки, потом к нам домой пришла учительница, она же классная руководительница (догадываюсь, что кто-то из моих родителей связался с ней по этому вопросу) и сказала, что одноклассники меня простили, поняли, что я согрешила не нарочно, и верят, что это больше не повторится. Я сдалась не сразу, но в конце концов дала себя уговорить и вернулась в гимназию, а папа с мамой с тех пор старались предупреждать подобные оплошности с моей стороны.

Как и предполагал мой отец, я стала, подобно большинству моих товарищей по гимназии, сионисткой, вступила в левую молодежную сионистскую организацию “Ха-шомер ха-цаир” и мечтала о переселении на Землю обетованную и создании там еврейского государства. О войне, которая разрушит все эти планы, никто из нас не думал. Я хорошо училась, а иногда даже одерживала небольшие победы. Например, когда мне шел девятый год, то есть в 1932 году, я прочитала в газете “Малый пшеглонд” (“Малое обозрение” — издаваемое известным писателем Янушем Корчаком еженедельное приложение для детей и юношества к ежедневной еврейской газете на польском языке “Наш пшеглонд”) объявление о конкурсе на описание интересной игры и написала туда не то статью, не то очерк “Игра в корабль” (о чем там шла речь, не помню). И вдруг несколько недель спустя в “Малом пшеглонде” появилось сообщение, что первое место в конкурсе заняла девятилетняя Эстуся из Белостока (так я подписалась). А домой, к изумлению моих родителей, которые ни о чем не знали, пришло письмо с поздравлением и просьбой в ближайший мой приезд в Варшаву, независимо от срока, явиться в редакцию за дипломом и премией. В Белостоке это событие стало настоящей сенсацией, пространную заметку о моем успехе напечатала популярная местная газета на идише “Унзер лебн” (“Наша жизнь”). Моей гордости, разумеется, не было предела, а поскольку зимние каникулы и Пасху я традиционно проводила у бабушки с дедушкой в Варшаве (почти все родственники мамы и папы жили там), то, едва приехав к ним в очередной раз, я отправилась с тетей, маминой сестрой, в редакцию. Я очень надеялась, что познакомлюсь там с Янушем Корчаком, чей “Король Матиуш Первый” был тогда моей любимой книгой. Каково же было наше с тетей разочарование, когда вместо Корчака нас встретил никому в ту пору не известный Игорь Неверли, его секретарь и фактический редактор еженедельника. Кто мог предвидеть, что спустя годы Неверли станет известным писателем, а я — переводчицей польской литературы, которая переведет на русский язык ряд его талантливых повестей: “Под фригийской звездой”, “Сопка голубого сна”, “В минуты

роковые” и др. В ходе работы над переводами мы с Неверли часто переписывались, приезжая в Варшаву, я всегда его навещала и как-то рассказала ему, что я — та самая довоенная Эстуся из Белостока, которой он вручил диплом, какие-то книги и билеты в детский театр. Неверли не раз заверял меня потом (подозреваю, что исключительно из вежливости), что хорошо помнит тот конкурс и застенчивую девочку, пришедшую с тетей в редакцию.

В 1978 году Международный комитет по празднованию столетия со дня рождения Януша Корчака пригласил меня на научную сессию, посвященную этой дате и состоявшуюся в Варшаве в октябре того года. Я очень хотела воспользоваться приглашением, готовилась к поездке, но буквально в последний момент она сорвалась по ряду моих домашних и служебных обстоятельств. Ужасно расстроенная, я поделилась в письме к Неверли своим огорчением, а он в утешение прислал мне старый, довоенный снимок группы сотрудников “Малого пшеглонда” с трогательной дарственной надписью. Смерть Игоря Неверли несколькими годами позже была для меня тяжелым ударом и настоящим горем.

Между тем время шло, и вот наступил роковой 1939 год. Я перешла тогда во второй класс лицея и, начнись война годом позже, успела бы, как было задумано, уехать учиться в Иерусалимский университет, и тогда вся жизнь моя и моих родителей сложилась бы совершенно иначе. Впрочем, не только моя. Большинство моих одноклассников собирались продолжить учебу в Палестине. И тогда они остались бы в живых. Увы, из восьмидесяти с лишним учеников наших двух параллельных классов пережила войну только я, мой приятель Гершон Кон, которому удалось уже во время войны добраться до Палестины (как это происходило, я расскажу потом) и моя подружка Соня Гродзенская — ей удалось бежать из города во время ликвидации белостокского гетто, и она вместе с еще несколькими людьми пряталась в лесном бункере до прихода Красной армии. Теперь она живет в Израиле.

Август 1939 года, то есть последний мирный месяц, я провела в Карпатах, в молодежном туристическом лагере. Срок моей путевки истек за неделю до начала войны, как раз в тот день, когда в стране была объявлена всеобщая мобилизация. Из Белостока нас была в лагере целая группа — из нашей организации “Ха-шомер ха-цаир”. Мы все вместе сели в поезд, следовавший в Варшаву, где нам предстояла пересадка. И тут мы сразу ощутили, что былое время кончилось. Согласно распоряжению военных властей, каждый мужчина, подлежащий призыву и направлявшийся на сборный пункт, имел право остановить любое средство транспорта и воспользоваться им. В этой связи наш поезд начал останавливаться буквально через каждые сто метров. О расписании никто не думал, а ведь в довоенной Польше (не знаю, как сейчас) поезда ходили так точно, что по ним можно было сверять часы. Я это отлично помню, потому что не раз думала об этом, пользуясь поездами в СССР, где опоздания на несколько часов были в порядке вещей, ни у кого не вызывая возражений.

Итак, в наш вагон все время подсаживались люди, становилось все теснее и в конце концов негде было даже стоять. Тогда, освобождая место призывникам, стали высаживать других пассажиров. Правда, это касалось только лиц мужского пола, так что я доехала до Варшавы на том же поезде, в то время как наших ребят высадили всех. Они добрались до Белостока разными путями чуть ли не в самый канун войны. На Варшавском вокзале меня встретили ожидавшие там уже много часов два моих дяди, напуганные телефонными звонками моих родителей. Они повезли меня ненадолго к бабушке с бабушкой — всех их я видела тогда в последний раз — и в тот же день отправили поездом в Белосток. Я была счастлива, очутившись наконец дома, мама рыдала и клялась, что никогда в жизни не позволит мне больше уезжать. Атмосфера в городе была до крайности накалена, хотя люди все еще надеялись, что, может быть, все обойдется и войны не будет. В нашей квартире все время толпились знакомые и просто соседи — приходили послушать новости по радио, которое было тогда далеко не у всех.